

## НАШИ БЕЛЛЕТРИСТЫ- НАРОДНИКИ

Н. И. НАУМОВ

### I

В семидесятых годах Н. И. Наумов пользовался огромной популярностью в самых передовых слоях нашей народнической (тогда самой передовой) «интеллигенции». Его произведениями зачитывались. Особенный успех имел сборник «Сила соломѹ ломит»<sup>1</sup>. Теперь, конечно, времена изменились, и никто уже не будет так увлекаться сочинениями Наумова, как увлекались ими лет двадцать тому назад. Но и теперь их прочтет с интересом и не без пользы для себя всякий, кто небеззаботен насчет некоторых «проклятых вопросов» настоящего времени; а связанный с ними исторический интерес будет велик до тех пор, пока не перестанут у нас интересоваться эпохой семидесятых годов, во многих отношениях важной и поучительной.

Н. И. Наумова относят обыкновенно к числу беллетристов-народников. И это, конечно, справедливо, так как он, во-первых, беллетрист, а во-вторых — народник. Но его беллетристика имеет особый характер. Если у всех вообще наших народников-беллетристов публицистическому элементу отводится очень широкое место, то у Наумова он совершенно подчиняет себе собственно художественный элемент. Скажем более: в огромном большинстве случаев странно было бы даже и говорить о художественном элементе в произведениях Наумова, — он там почти всегда совершенно отсутствует; Наумов, наверно, редко и задавался целью художественного творчества. У него была другая цель. В его очерке «Горная идиллия» любознательный и не лишенный известной начитанности мещанин Никита Васильевич Еремин, заброшенный судьбою в темную инородческую среду в предгорьях Алтая, замечает, что хорошо было бы «прописать в газету» ту страшную эксплуатацию, которой подвергаются инородцы со стороны кулаков и

даже своего ближайшего начальства. Но его останавливает то опасение, что его, пожалуй, поднимут на смех другие писатели, выше его стоящие на общественной лестнице. К тому же он не знает, «с чего начать». Наумову тоже захотелось «прописать» хорошо знакомое ему тяжелое положение русских крестьян и инородцев. Как человек образованный и умеющий владеть пером, он знал, «с чего начать», и не боялся насмешек со стороны других писателей. Вот он и написал ряд рассказов, «этидов», «сцен», очерков и проч. Все его сочинения имеют беллетристическую форму, но даже при поверхностном чтении заметно, что эта форма является в них чем-то внешним, искусственно к ним приделанным. Ему, например, хотелось «прописать» ту поистине дикую и вопиющую эксплуатацию, которой подвергаются в сибирских селах, лежащих на их пути, рабочие, идущие по окончании летних работ с золотых приисков. Он, конечно, мог бы это сделать в простой статье или в ряде статей. Но ему показалось, что беллетристическое произведение сильнее подействует на читателя, — и он написал «сцены», носящие общее название «Паутина». Некоторые из этих сцен написаны прямо мастерски и обнаруживают несомненный художественный талант в авторе. Для примера укажем на сцену навязывания товара полупьяному рабочему Евсею в лавке «торгующего крестьянина» Ивана Матвеича (Соч., т. I, стр. 88—97)<sup>2</sup>. Но это одно из счастливых исключений. Большинство же остальных «сцен», не переставая показывать хорошее знание автором описываемой им среды, отличается страшной растянутостью и режущей глаза искусственностью. Эти сцены наскоро сшиты белыми нитками для изображения той или другой формы эксплуатации. Действующие в них лица не живые люди, а антропоморфные отвлеченности, получившие от автора дар слова, а лучше сказать: дар болтливости, и страшно злоупотребляющие им в видах просвещения читателя. Особенно болтливы эксплуататоры, которые иногда так прямо о себе и говорят: не ищите у нас ни стыда, ни совести\*. Но

\* В длиннейшей «сцене» расчета за постой крестьянин Марк Антоныч говорит обираемым им постояльцам-рабочим: «У нас о совести-то энтой и попеченья не кладут, потому, сказывают, што хлеб-то на деньги продают, а на совесть-то его не вешают... Ну, и точно, чего сказать, по нашим местам все грешны перед богом, уж праведного не сыщешь. По этому самому у нас и щи-то приправляют не молитвой, как у вас, а мясом» (т. I, стр. 154). Это сильно и вполне вразумительно даже для самого непонятливого читателя: когда порок сам рекомендуется пороком, то его никто не сочтет за добродетель. Но даже и у Наумова порок не всегда склонен к саморазоблачению. Тот же бесстыдный Марк Антоныч в ответ на восклицание одной из его жертв: «Грабь!» укоризненно замечает: «Милый, зачем энти слова?» Это много естественнее.

им нельзя не быть болтливими: болтливость является их первою и почти единственною обязанностью; если бы они не были болтливы, то они и не понадобились бы Наумову. Характеры кулаков обыкновенно рисуются у него посредством диалогов. Он куда-нибудь едет по делам службы, заезжает случайно к какому-нибудь кулаку и начинает задавать ему ряд вопросов, на которые кулак подает надлежащие реплики. Вопросы обыкновенно очень наивны, подчас и прямо неуместны. Вот, например, богатый кулак Кузьма Терентьич в «Паутине» уверяет, что его жизнь — не жизнь, а «сухая каторга». По этому поводу автор спрашивает: «Если вы сознаете, Кузьма Терентьич, что подобное ремесло, которым вы занимаетесь, и тяжело и опасно, так отчего же не оставите его, чтоб не испытывать более таких трудов и опасностей, а?» (т. I, стр. 65). Кулак доказывает, что это невозможно; разговор оживляется, затягивается на несколько страниц, а именно это-то и нужно автору, — свой наивный вопрос он задал именно ради этого. В очерке «Горная идиллия» уже упомянутый мещанин Еремин, разговорившись, упоминает о том, что сибирские чиновники, вопреки закону, не только не препятствуют продаже водки инородцам, но сами торгуют ею в инородческих улусах. «Неужели исключительно для торговли вином они и ездят в горы?» — спрашивает автор. Еремин, само собою разумеется, восклицает: «Не-ет-с, как это можно!» и затем подробно описывает подвиги чиновников. Таким образом, выходит интересный очерк, который вы, наверное, прочтете с большим удовольствием. Но если вы вспомните, какой наивный вопрос послужил поводом для этого очерка, если вы примете в соображение, что автор, то есть, лучше сказать, лицо, от имени которого ведется рассказ, само является чиновником и что, таким образом, заданный им вопрос становится еще несравненно более наивным, то вы поневоле подивитесь первобытной простоте художественных приемов Наумова; вы согласитесь, что беллетристом его можно назвать лишь с оговорками.

Автор не всегда дает себе даже и тот небольшой труд, который нужен для придумывания хотя бы и наивных вопросов. Чаще всего он повторяет стереотипные фразы вроде: «Неужели все это правда?» или: «А ты не врешь все это?» И эти фразы всегда в совершенно достаточной, а порою, как мы уже сказали, даже и в излишней мере возбуждают словоохотливость его собеседников.

Эти словоохотливые собеседники обыкновенно хорошо вла-

деют народной речью\*. К сожалению, они больше, чем это нужно, «заикаются от смущения», и тогда они говорят, например, так:

«— Ты... ты... ты... что ж это взъелся-то на меня? Разве я... я... я... обидел тебя чем?.. Я... я... кажись, любовно с тобой», и т. д. (т. II, стр. 146).

Согласитесь, что тут уже слишком много «заиканий» и что герой так выражает здесь свое смущение, как выражают его иногда плохие актеры на провинциальной сцене.

А вот еще одна особенность речи словоохотливых собеседников Наумова. Все они «с иронией говорят», «с иронией произносят», «с иронией спрашивают», и т. д., и т. д. Без «иронии» или «насмешки» они не произносят почти ни одного слова. Вот пример:

«— Што ж, ты спасеньем хошь согреться, што ли, в этой скворешнице-то? — с иронией спросил он.

— Спасеньем! — ответил тот.

— Давно ли ты на себя блажь-то эту напустил?

— С тех пор, как бог покарал меня за грехи мои.

— А-а,— протянул он,— стало быть, много же грехов-то было, хе, хе, хе, што заживо греют тебя? — с насмешкой спросил он...» (т. I, стр. 209).

Или:

«— Милости просим, батюшка... погости ужо, присядь, авось погодка-то и скоро перейдет, на твое счастье... Не шибко штобы красно у меня было здесь! — с иронией продолжал он» (т. I, стр. 30), и т. д.

Эта всегда старательно отмечаемая автором «ирония», которая сменяется лишь «сарказмом» или «насмешкой», под конец надоедает и раздражает, как неуместное повторение одного и того же места. Автор легко мог бы избавить читателя от этой докучки, предоставив ему самому замечать иронию, когда она сквозит в словах действующих лиц. Он не сделал этого. Ему хотелось обрисовать характер русского народа. По его убеждению, ирония составляет одну из ярких черт этого характера,— и он насовал везде «иронии» и «сарказмов», не допуская даже и мысли о том, что они могут надоесть читателю.

\* Говорим: *обыкновенно*, потому что не можем сказать *всегда*. Порой рассказчик из крестьян говорит обыкновенным нашим литературным языком и только время от времени вставляет в свою речь слова вроде: «слышь», «лонись» и т. п., как бы для напоминания читателю, что он, рассказчик, не «интеллигент», а крестьянин. Наумов так хорошо знает язык крестьянина, что ему ничего не стоило бы устранить этот недостаток. Но он, очевидно, даже и не замечает его, будучи равнодушен к форме своих произведений.

У Наумова никогда не было большого художественного таланта. Но уже одного такого очерка, как «У перевоза» или «Деревенский аукцион», достаточно для того, чтобы признать его талантливым беллетристом. В пользу его художественного таланта свидетельствуют также многие отдельные сцены и страницы, разбросанные в двух томах его сочинений. Но он не культивировал своего художественного таланта, лишь изредка позволяя ему развернуться во всю силу, чаще всего сознательно жертвуя им ради известных публицистических целей. Это очень вредило таланту, но несколько не мешало практическому действию сочинений.

## II

Какие же практические цели преследовал Наумов в своей литературной деятельности? Их следует выяснить именно потому, что его деятельность встречала такое горячее сочувствие в среде самой передовой молодежи семидесятых годов.

В очерке «Яшник» автор, приступая к рассказу, делает следующую знаменательную оговорку:

«Я не буду вдаваться в подробное описание лишений, горя и радостей, какие встречались в жизни Яшника, из опасения не только утомить внимание читателя, но и показаться смешным в глазах его. Описывая жизнь героя, взятого из интеллигентной среды, автор наверное может рассчитывать, что возбудит в читателе сочувствие и интерес к горю и радостям избранного им лица, потому что горе и радость его будут понятны каждому из нас. Но будут ли понятны нам горе и радость таких людей, как Яшник? Что сказал бы читатель, если бы автор подробно описал ему радость, охватившую Яшника, когда у него отелилась корова, купленная им после многих трудов и лишений и долго ходившая межумолоком, лишив детей его единственной пищи — молока? Разве не осмел бы он претензии его описывать подобные радости таких ничтожных людей, как Яшник? В состоянии ли мы понять глубокое горе Яшника, просчитавшегося однажды на рубль семь гривен при продаже на рынке корыт, кадушек, ковшей, которые он выделывал из дерева в свободное от полевых работ время? Конечно, мы бы с удовольствием поохотились, если бы нам талантливо изобразили всю комичность этого бедняка, который несколько дней после того ходил как потерянный, разводя руками и говоря: «А-ах ты, напасть, да не наказание ли это божеское: на целые рубль семь гривен обнищавший, а-а?» Но понять горе человека, убивавшегося из-за такой ничтожной суммы, мы не можем. В нашей жизни рубль семь гривен никогда не играют такой важной роли, какую играют они в жизни таких людей, как Яшник. Мы отдаем более лакею, подавшему нам богатый обед в ресторане. Тогда как Яшник, для того чтобы выручить рубль семь гривен и отдать их в уплату причитающейся с него подати, выгребал последний хлеб из закрома и вез его на рынок на продажу, питаюсь с семьей отрубями, смешанными с сосновой корой и другими суррогатами, глядя на образцы которых, выставляемые в музеях, мы только пожимаем

плечами от удивления: как могут люди питаться подобною мерзостью? Итак, избежав всех этих неинтересных для нас подробностей, я прямо перейду к рассказу того эпизода в жизни Яшника, который имел роковое влияние на судьбу его...» (т. I, стр. 213).

Эта длинная оговорка есть прямой упрек нашему «обществу», которое не умеет сочувствовать народному горю. Изображению этого горя в одном из его бесчисленных проявлений посвящен цитируемый очерк. Сам по себе он очень плох: от него веет какой-то почти искусственной слезливостью. Но цель его совершенно ясна: Наумов хотел показать, что даже такой во всех смыслах маленький человек, как Яшник, — что-то вроде «сидящего на земле» Акакия Акакиевича, — способен к благородным порывам и что уже по одному этому заслуживает сочувствия. Мысль эта, — нечего говорить, — вполне справедлива, но уж очень элементарна, до такой степени элементарна, что невольно спрашиваешь себя: да неужели же подобные мысли были так новы для передовой интеллигенции семидесятых годов, что она считала нужным горячо рукоплескать высказавшему их писателю?

В действительности передовая интеллигенция семидесятых годов увлекалась не этими элементарными мыслями Наумова, а теми радикальными выводами, которые она сама делала из его сочинений. Мы не знаем, когда был напечатан «Яшник»<sup>3</sup>, да это и неважно. Важно вот что: если этот очерк увидел свет еще в семидесятых годах, то он понравился передовым читателям, во-первых, вышеприведенным упреком обществу, живущему на счет народа, но неспособному понять и облегчить его положение, а во-вторых, изображением благородного характера несчастного Яшника. Это благородство являлось чрезвычайно отрядным и желанным свидетельством в пользу «народного характера», идеализация которого была совершенно естественной и необходимой потребностью лучших людей того времени. Теперь мы твердо знаем, что так называемый народный характер ни в каком случае не ручается за будущие судьбы народа, потому что он сам является следствием известных общественных отношений, с более или менее существенным изменением которых и он должен будет измениться более или менее существенно. Но это взгляд, который был совершенно чужд народнической интеллигенции семидесятых годов. Она держалась противоположного взгляда, согласно которому основною причиной данного склада общественных отношений являются народные взгляды, чувства, привычки и вообще народный характер. Какой огромный интерес должны были

иметь в ее глазах суждения о народном характере; ведь от свойств этого характера зависело, по ее мнению, все будущее общественное развитие нашего народа. Наумов нравился ей именно тем, что, по крайней мере отчасти, изображал народный характер таким, каким ей хотелось его видеть. Даже очевидные теперь недостатки его сочинения тогда должны были казаться большими достоинствами. Так, у Наумова, собственно говоря, есть только два героя: эксплуататор и эксплуатируемый. Эти герои отделены друг от друга целой бездной, и никаких переходов от одного к другому, никаких связующих звеньев не замечается. Это, разумеется, большой недостаток, сильно бросающийся в глаза при сравнении сочинений Наумова, например, с сочинениями Златовратского, где действующие лица являются по большей части уже живыми людьми, а не антропоморфными отвлеченностями. Но передовой интеллигенции семидесятых годов этот недостаток должен был казаться достоинством. Она сама была убеждена, что между крестьянином-кулаком и крестьянином — жертвой кулацкой эксплуатации нет ровно ничего общего; кулак казался ей случайным плодом внешних неблагоприятных влияний на народную жизнь, а не необходимым результатом той фазы экономического развития, которую переживало крестьянство. Постоянно возбужденная и готовая на все ради народного блага, она была уверена, что, в сущности, можно сразу и без очень большого труда, одним энергичным усилием снять с народного тела этот посторонний ему, извне наложенный на него слой паразитов. А раз у нее возникла и окрепла эта уверенность, ей уже сделалось неприятно читать такие очерки из народного быта, которые показывали ей, что она не совсем права, то есть что эксплуатация крестьян крестьянином порождается не одними только так называемыми «внешними» влияниями на народную жизнь\*, — и, наоборот, ей стали особенно нравиться такие произведения, которые хоть немного подтверждали ее любимую мысль.

Пусть вспомнит читатель, как сильно и горько упрекали тогда Г. И. Успенского за его будто бы излишний и неосновательный пессимизм. В чем заключался этот «пессимизм»? Именно в указании тех сторон крестьянской жизни, благодаря которым неравенство, а с ним и эксплуатация крестьянина крестьянином возникают в сельской общине даже и в тех случаях, когда совершенно отсутствуют благоприятные для их

\* Под внешними влияниями разумелось тогда влияние государства и высших сословий.

роста *внешние* влияния. Народническая интеллигенция имела все основания быть недовольной Г. И. Успенским: пытливая мысль этого замечательного человека разлагала одно за другим все главные положения народничества и подготовляла почву для совершенно иных взглядов на нашу народную жизнь. У Наумова не было ничего подобного; он не заставлял читателя вкушать от древа познания добра и зла, плоды которого, как известно, бывают подчас очень горьки; он, не мудрствуя лукаво, возбуждал чувство ненависти к эксплуататорам, то есть как раз то самое чувство, апелляция к которому составляла главную, если не единственную силу народнических доводов. Народникам не могли не нравиться у Наумова даже те сцены объяснения кулаков с их жертвами, которые, за небольшими исключениями, кажутся нам теперь страшно растянутыми и потому скучными: ведь в них кулаки выставляются к позорному столбу, их называют грабителями, бранят аспидами и т. д. Люди, собиравшиеся не сегодня-завтра положить конец существованию аспидов и не обладавшие развитым эстетическим вкусом, должны были с удовольствием читать подобные сцены.

Н. И. Наумов никогда не шел дальше проповеди самой элементарной гуманности. В мужике такая же душа, как и в нас\*, каторжник тоже человек, между так называемыми преступниками есть много душевнобольных, которых следовало бы лечить, а не наказывать\*\*, — вот к каким азбучным истинам сводится его проповедь. К этому надо прибавить, что никаких действительных решений поднимаемых им общественных вопросов он не предлагает, а, напротив, обнаруживает явную готовность удовольствоваться паллиативами\*\*\*. Если бы увлекавшаяся сочинениями Наумова передовая народническая интеллигенция семидесятых годов когда-нибудь ясно представила себе те практические цели, которые он преследовал своими сочинениями, то она взглянула бы на него как на человека крайне отсталого. Но она не доискивалась этих целей, вовсе и

\* См. стр. 74, т. I, где эта мысль высказывается устами добродетельного старшины Флегонта Дмитрича.

\*\* См. Рассказ «Поскотник» и сцену «Паутина».

\*\*\* Иногда он точно указывает эти паллиативы. «В первые два года по приходе в Сибирь переселенцы почти всегда бедствуют и нуждаются в помощи, но выдавать им пособия одним только хлебом, по моему мнению, есть крайняя ошибка, вытекающая из незнания условий крестьянской жизни в Сибири. Переселенцу прежде всего нужна помощь для приобретения лошади, телеги, саней, сельскохозяйственных и домашних орудий и избы» и т. п. (т. II, стр. 376).

не интересовалась ими. У нее была своя, твердо поставленная цель. Ей казалось, что сочинения Наумова являются новым и сильным доводом в пользу этой цели, и потому она зачитывалась ими, не справляясь ни об их художественном достоинстве, ни о практической «программе» их автора.

Осуществление цели, которую она задавалась, предполагало, помимо всего другого, огромную самостоятельность в нашем крестьянстве. Но в сочинениях Наумова нет ни малейшего намека на такую самодеятельность. Изображаемая беднота умеет только хлопать себя по бедрам, восклицая: «а-а-ах!» или «есть ли бог-то у тебя!» Если из ее среды и выходят когда-нибудь люди, неспособные покорно подставлять шею под ярмо деревенских эксплуататоров и призывающие ее к отпору, то она не умеет поддержать таких людей. Рассказ «Крестьянские выборы» хорошо обрисовывает это отношение сельской бедноты к ее собственным защитникам. Умный и настойчивый крестьянин Егор Семенович Бычков навлекает на себя ненависть мироедов, волостного начальства и даже посредника своим независимым поведением и энергичным, умелым отстаиванием интересов крестьянского мира. Но зато его любят крестьяне, которые даже собираются выбрать его волостным старшиною. Разумеется, это намерение очень не нравится мироедам, и по всей У... волости закипает ожесточенная борьба партий. Чем более приближается время выборов, тем сильнее нападает партия кулаков на излюбленного миром человека, пуская в ход и деньги и клевету. В числе других небывлиц, распространяемых насчет Быčkова, ходит слух о том, что его скоро посадят в острог за то, что он будто бы подговаривал крестьян жаловаться высшему начальству на неправильные действия посредника и чинов земской полиции. Крестьяне отчасти догадываются, что этот слух распушен кулаками; но, с другой стороны, они не могут не признать, что он заключает в себе значительную долю вероятности. Они отчасти и сами готовы признать бунтовщиком своего излюбленного человека. Они говорят: «Как знать, чужая душа потемки! А что Бычков с начальством мужик зазористый, не потаишь греха!» Таким образом, ловкая выдумка сильно действует на сельскую бедноту; сознаваемый ею «грех» Быčkова значительно ослабляет ее энергию. А когда посредник доводит до сведения крестьян, созванных на волостной сход для избрания старшины, что он не допустит выбрать Быčkова и даже не позволит им разъехаться по домам, пока они не подадут своих голосов за кандидата, выставленного мироедами, — они покоряются. «Не обошлось, конечно, и без говора резкого,

желчного; не обошлось и без аханья и без любимого, много выражающего у крестьянина жеста — похлопывания себя руками по бедрам, но все это в конце концов привело к тому, что многие уехали молча, другие же подали свой голос за Трофима Кирилловича (кандидата кулацкой партии), и к вечеру того же дня шумное село опустело, и все дороги и тропинки усеялись народом, ехавшим по домам и громко толковавшим о наставших порядках» (т. I, стр. 500—501).

А Бычков? А Бычкова посредник, вопреки закону, приказал посадить в волостную тюрьму, где он и просидел, вынося страшные лишения и притеснения, около пяти месяцев. Освобожденный, наконец, благодаря случайному заступничеству заседателя, он нашел свое хозяйство совсем разоренным, а своих бывших сторонников страшно запуганными.

«Он не лишился уважения и сочувствия окружающих, — говорит Наумов, — потому что не в природе русского простодушия отталкиваться от несчастья; но боязливость и таинственность, в какой выражались они из опасения вызвать преследования и на себя, больнее отдавались в нем, чем если бы и совсем их не было. Явно от него сторонились, как от зараженного, не решаясь переступить и порога всегда приветливого дома его» (т. I, стр. 506—507). Бычков сделался нелюдимым, стал избегать всяких сношений со своими односельчанами и, наконец, решил выселиться в другой округ. Односельчане провожали его с искренним сожалением, и когда его кибитка скрылась из виду, они, расходясь по домам, долго еще толковали о том, как «ни за што» пропал этот человек, в котором было так много правды.

Заканчивая историю Егора Семеновича, Наумов замечает, что он все-таки не погиб и «встретил себе достойную оценку» на новом месте жительства: его выбрали там в волостные старшины. Стало быть, добродетель в конце концов все-таки восторжествовала. Но не знаем, как кого, а нас мало радует это ее торжество; оно кажется нам *придуманным*, и уж во всяком случае совершенно *случайным*. Так как крестьяне У... волости ничем не отличались от крестьян других волостей, то ясно, что и на новом месте своего жительства Бычков мог оказаться согнутым в бараний рог, а его новые односельчане не только могли, но и должны были оказаться в этом случае столь же пугливыми, как и прежние.

Почему же передовая интеллигенция семидесятых годов не заметила, что изображаемая Наумовым страдающая крестьянская масса совершенно лишена самостоятельности? Теперь нелегко ответить на этот вопрос, потому что уже нелегко теперь

восстановить во всех частностях психологию передового народника того времени. Вероятнее всего, что дело объясняется так: передовая интеллигенция полагала, что мирские люди, подобные Бычкову, гибли вследствие отсутствия всякой взаимной связи между ними и всякой помощи им, всякого руководства извне. Создать эту связь, принести эту помощь, дать это руководство и обязана интеллигенция. Когда эта обязанность будет исполнена, тогда мирские люди не будут уже бессильными одиночками, да и сама крестьянская масса перестанет пугаться первой встречной кокарды и трусливо покидать в нужде своих защитников. Именно ради исполнения этой обязанности и шла в народ тогдашняя передовая интеллигенция.

А мирские люди, подобные Бычкову, оставались ее любимыми типами. Наумов говорит о таких людях: «Они всецело отдаются своему делу, не останавливаясь ни перед чем и не щадя себя; в них много неискоренимой веры в правду, и они доискиваются ее всеми путями; они незнакомы с разочарованием, хотя жизнь на каждом шагу наталкивает их на него, и когда перед ними закроются все пути, ведущие к их цели, они пробивают новые и все-таки идут, идут к ней, пока не падут под бременем неравной борьбы» (т. I, стр. 435). Подумайте, с каким восторгом должна была внимать изображению таких людей тогдашняя передовая интеллигенция! Сколько самых отрадных надежд она должна была связывать с их существованием! И она, конечно, не ошибалась, высоко ценя таких людей. Ее ошибка была не тут. Она заключалась в легкомысленной идеализации нашего старого, уже и тогда быстро разлагавшегося, экономического порядка. Увековечение этого порядка необходимо повело бы за собою увековечение тех самых свойств народного характера, о которые так часто разбивалась энергия Бычковых и о которые разбилося впоследствии самоотвержение народников.

### III

Посмотрим, каков был этот старый экономический порядок и как отражался он на взглядах, чувствах и привычках народной массы, подвергавшейся его неотразимому влиянию.

Наумов совсем не задавался целью его всестороннего изображения. Он подробно останавливался только на некоторых его социальных последствиях. Однако у него мимоходом собрано довольно много материала для характеристики этого старого порядка и его влияния на народную жизнь.

Наблюдения Наумова относятся большею частью к быту сибирских крестьян, но это, разумеется, нисколько не изменяет дела.

Потрудитесь прислушаться к следующему разговору автора с ямщиком, везущим его в село Т...ь («Паутина»):

«— Какие благодатные места у вас...

— Места у нас — умирать, брат, не надо! — отозвался ямщик. — По этим местам только бы жить да жить нашему брату, а все, друг мой сердешный, мается народ-то: и хлеба теперича урожай, не пожалуемся, и пчелка водится, медку-то тебе за лето с избытком принесет она, а маемся, диво вот! — заключил он.

— Отчего же вы маетесь?

— Отчего? — повторил он. — И хорошие, брат, места у нас, да глухие. Суди сам: теперича в урожайный-то год хлеб-то хошь даром отдавай, так никто не берет у тебя, вот оно, дело-то! А подать-то не ждет, по хозяйству тоже без гроша клина не вобьешь, а где их, грошей-то, брать прикажешь? У кого лошадей много да во времени избыток, нагружит воза да в Т... город везет; ему и выгода и богатеет, а нашему-то брату несподручно это, потому и лошадушек намаешь и время-то тебе терять не приходится... Вот ты и у хлеба сидишь, а горя не минуешь...» (т. I, стр. 54).

Справедливость этой мысли, что крестьянин может натерпеться горя, даже сидя у хлеба, явствует также из отзывов уже упомянутого выше кулака Кузьмы Терентьича. В ответ на наивный вопрос, отчего он не займется хлебопашеством, торгош сухо отвечает: «Отвыкли-с!», а когда автор спрашивает, неужели у них в селе никто уже не обрабатывает земли?\* — он говорит:

«— Кое-кто сеются, есть, а нам не к чему-с! Мало ли окрест нас сел и деревень хлебопашество-то ведут, в хлебе-то по уши зарылись, а все нищие, все около нас же колотятся. Куды вы его сбывать-то будете? У них вон есть хлеб-то в скирдах по пяти, по шести лет стоит, а у него бродней купить не на што, чтобы от холоду оборониться. Вот и сейте его. Нет, не дело это, сударь!» (т. I, стр. 65).

В другом месте («Юровая») крестьянин, старающийся продать кулаку рыбу, рассуждает так:

«— ...И у хлеба сидим, не погневим бога, да хлеб-то энтот не по нас. Неуж ты думаешь, и мы не поели бы рыбки-то?

\* Это одно из тех сел, жители которых почти поголовно занимаются спаиванием и обиранием приисковых рабочих.

Поели бы, и как бы ишо поели... Да вот съешь-ко ее попробуй, так чем подушные-то справишь? Чем по домашности дыры-то заткнешь? А много дыр-то, о-ох много! Успевай только конопатить! Иной бы и в город чего свез, нашлось бы по домашности-то, да куды повезешь-то? Триста верст отмерять на одной животинке — нагреешь ноги, и без пути нагреешь-то их; што и выручишь, все на прокорм тебе да лошадушке уйдет, а домой-то сызнава приедешь ни с чем и проездишь-то немало время, а кто робить-то без тебя дома-то будет? А ведь домашность-то тоже не ждет, иное время час дорог. Вот и суди мужичье-то дело...» (т. I, стр. 353).

Полагаем, что этих выписок совершенно достаточно, чтобы составить себе понятие о народном хозяйстве описываемых Наумовым местностей. Это хозяйство есть так называемое в науке *натуральное* хозяйство. Но это натуральное хозяйство уже переходит в *товарное*. Крестьянину нужны не только естественные произведения его собственного поля, огорода и скотного двора; ему нужен также и «всеобщий товар», то есть деньги, и даже сравнительно немало денег. И притом деньги нужны ему не только для удовлетворения требований государства, то есть для уплаты податей, но и для собственной «домашности», где, как оказывается, много дыр, которые можно заткнуть только деньгами. Но деньги нелегко достаются крестьянину. При обилии естественных произведений сельского хозяйства и при отсутствии широкого и правильного их сбыта эти произведения отдаются чуть не даром. Поэтому денежные люди, захватывая в свои руки всю торговлю ими, наживают огромные барыши, которые ставят их в материальном отношении чрезвычайно высоко над крестьянской массой.

Но это не все. Являясь господином сбыта естественных произведений крестьянского хозяйства, обладатель «всеобщего товара» становится в то же время господином и над самим производителем. *Производитель* попадает в кабалу к *скупщику*, и кабала эта тем беспощаднее и тем грубее, чем менее успело развиться уже начавшее развиваться денежное хозяйство. Скупщик хочет распоряжаться, и действительно распоряжается, не только *продуктами* крестьянского *труда*, но и *всем сердцем, всем помышлением* крестьянина. «В этой бедной, забитой жизни, — говорит Наумов, — капитал играет еще большую роль, чем где-либо, подавляя всякую правдивую мысль, если бы она родилась в уме бедняка, одетого в оборванный полушубок и такие же бродни» (т. I, стр. 344).

Народникам казалось, что кулаки вырастают в крестьянской среде вследствие неблагоприятных внешних влияний на

нее. Они считали кулачество таким элементом народнохозяйственной жизни, который легко удалить не только не изменяя основ этой жизни, но всеми силами укрепляя их. Мы видели, что кулак-скупщик является неизбежным порождением известной фазы общественно-экономического развития. Если бы какой-нибудь общественный катаклизм удалил всех скупщиков, то они вновь народились бы в самое короткое время по той простой причине, что предполагаемый катаклизм не устранил бы экономической причины их появления.

Народники всегда склонны были идеализировать натуральное крестьянское хозяйство. Они от души радовались всем тем явлениям и всем тем правительственным мероприятиям, которые могли, казалось им, упрочить это хозяйство. Но так как в действительности у нас уже нет таких местностей, где не начался бы и не совершился бы в более или менее значительной степени переход натурального хозяйства в товарное, то мнимое упрочение натурального хозяйства в действительности означало не более как *упрочение самых первобытных, самых грубых и самых беспощадных форм эксплуатации производителя.*

Народники искренно желали добра нашей трудящейся массе, но, плохо выяснив себе смысл современной им русской экономики, они, по известному выражению Грибоедова, идя в комнату, попадали в другую.

Итак, население описанных Наумовым местностей страдало и от развития товарного производства и от недостатка его развития. Какие общественные отношения вырастают на такой экономической почве?

При натуральном хозяйстве каждая данная экономическая ячейка удовлетворяет продуктами своего собственного хозяйства почти все свои нужды. Разделения труда между этими ячейками не существует: каждая из них производит то же, что и все остальные. Нашим народникам такой экономический порядок казался каким-то золотым веком, в котором не было ни печали, ни воздыханий, а было всестороннее, гармоничное развитие трудящихся. Все популярные между народниками формулы *прогресса* так или иначе советовали цивилизованному человечеству *регрессировать* вплоть до натурального хозяйства. Да и теперь еще очень многие убеждены у нас, что крестьянин, способный своими собственными продуктами удовлетворить большую часть своих потребностей, непременно будет «развитее» любого промышленного рабочего, всегда занятого одним и тем же родом труда. Для проверки этого мнения мы очень рекомендуем прочитать в I томе сочинений Наумова рассказ «Замора»<sup>4</sup>.

Заморами называются рытвины, образующиеся на санной дороге во время таяния снега. Из них очень трудно выбраться раз застрявшим в них проезжим. Поэтому их очень боятся. В рассказе Наумова зовут Заморой крестьянина Максима Королькова, обладающего неслыханным в «интеллигентной» среде свойством — *заедливостью*. Из объяснений его односельчан выходит, впрочем, что это странное свойство есть не что иное, как склонность к размышлению, к *думе*: «Он, Замора-то, сейчас это в думу вдарится: почему да отчего все это, да где закон экой?» Крестьянам эта склонность кажется совсем неуместной в их быту: они убеждены, что думать — это не «мужичье дело». Конечно, совсем без думы даже и мужику прожить невозможно: «и хотел бы, может, в ину пору жить без думы, да, вишь, дума-то не спрашивает, надоть ее или нет, а сама тебе без спросу в голову лезет». Но дума думе рознь. Иную думу крестьянин может «свободно допускать» к себе, а иную он должен гнать и «давить», как «блажную», то есть вредную. Блажными думами считаются такие, которые относятся не к собственному хозяйству размышляющего, а к существующим общественным отношениям или хотя бы даже обычаям. Замора спрашивает: «Почему, коли от бога нет закона вино пить, а ты пьешь, вредительность себе приносишь?» По мнению крестьянина, сообщавшего об этом автору, это была вредная дума, потому что «так» не можно.

«— Отчего не можно, объясни ты мне? — спрашивает его автор.

— Не статья, не мужичье дело в экие думы входить, — горячо отвечает он. — Мужичье дело, батюшка, одно знать: паши, сей, блюди хозяйство, соблюдай, чего с тебя начальство требует, а не вникайся, ни боже мой...

— Ни во что не вникайся, что бы ни делалось вокруг тебя, а?

— Ни в малую соринку!

— А Замора вникал?

— Про то и говорю, что заедался! Дума-то, батюшка, что калач на голодные зубы, приманчива; вдайся только в нее — и не услышишь, как облопаешься.

— Думой-то?

— Ну, помыслом-то про то да про се, чего тебе вовсе не след знать и ведать» (т. I, стр. 285).

Человеку, привыкшему к «думе», трудно даже и понять, как это можно ею «облопаться». Между тем бедный Замора действительно заболел от нее; он кончил галлюцинациями и «пророчествами». Нечто подобное же Наумов изображает в

этуде «Умалишенный». Крестьянин, начавший «вникаться» в окружающие его порядки, сходит с ума. Когда мы читали этот этюд, нам вспомнилось, какую большую роль играли всякого рода «видения», «гласы», «пророчества» и т. п. в истории нашего раскола. Раскол, несомненно, был одной из форм протеста народа против тягостей, которыми обременяло его государство. В расколе народ протестовал посредством своей «думы», но это была надломленная до горячки больная дума людей, совершенно не привыкших размышлять о своих собственных общественных отношениях. Пока такие люди довольны этими отношениями, они считают, что малейшая перемена в них может рассердить небо; а когда эти отношения становятся очень неудобными, люди осуждают их во имя небесной воли и ждут чуда, вроде появления ангела с огненной метлою, который сметет нечестивые порядки, расчистив место для новых, более угодных богу.

#### IV

«Паши, сей, блюди хозяйство, соблюдай, чего с тебя начальство требует, а не вникайся, ни боже мой!» — так говорит обстоятельный хозяйственный крестьянин. Область, в которой может безопасно вращаться крестьянская мысль, ограничивается пределами крестьянского хозяйства. Занимаясь хозяйством, крестьянин становится в известные отношения к земле, к навозу, к орудиям труда, к рабочему скоту. Допустим, что эти отношения чрезвычайно разнообразны и крайне поучительны. Но они не имеют ничего общего со взаимными отношениями *людей в обществе*, а именно этими-то отношениями и воспитывается мысль гражданина, именно от них-то и зависит большая или меньшая широта его взглядов, его понятия о справедливости, его общественные интересы. Пока мысль человека не выходит за пределы его хозяйства, до тех пор мысль эта спит мертвым сном, а если и пробуждается под влиянием каких-нибудь исключительных обстоятельств, то пробуждается лишь для галлюцинаций. Натуральное хозяйство очень неблагоприятно для развития чуткой общественной мысли и широких общественных интересов. Так как каждая данная экономическая ячейка довольствуется своими собственными продуктами, то сношения ее с остальным миром крайне немногосложны, и она совершенно равнодушна к его судьбам. У нас привыкли превозносить чувство солидарности, будто бы в высокой степени свойственное крестьянам-общинникам. Но это совсем неосновательная привычка. В действительности кре-

стьяне-общинники такие же индивидуалисты, как и крестьяне-собственники. «Фиктивно соединенные в общество круговою порукою при исполнении многочисленных общественных обязанностей, большею частью к тому же навязываемых извне, — справедливо говорит Гл. И. Успенский, — они, не как общинники и государственные работники, а просто как люди, предоставлены каждый сам себе, каждый отвечает за себя, каждый сам за себя страдай, справляйся, если можешь, если не можешь — пропадай» («Из деревенского дневника»). Правда, это замечание Гл. И. Успенского относится к крестьянам Новгородской губернии, давно уже живущим при условиях очень развитого товарного хозяйства. Но из сочинений Наумова видно, что солидарности не больше и между сибирскими крестьянами: и там бедняк встречает мало сочувствия со стороны односельчан. Уже знакомый нам крестьянин Яшник имел только одну лошаденку Пеганку, изнуренную непрерывной работой и бескормицей. Часто, выбившись из сил, Пеганка останавливалась на дороге, и тогда ее не могли сдвинуть с места уже ни понукания, ни удары. Яшнику только оставалось припрячь самого себя к возу, что немало веселило всю деревню.

«— Ну и рысаки, глянь-ка, братцы, ах, хи-хи-и-и! Того и гляди, что воз-то вдребезги разобьют, а-а-а?»

— Целковых сто, поди, пара-то эких стоит, други, а-а?

— Не купишь и за этикие деньги! Ты погляди только, ведь и рысью-то оба взяли, и мастью-то друг к другу подошли... Словно одной матки дети.

— А если по разнице тепереча взять их, братцы, то которая форменней выглядит: корневик, аль пристяжная... а?

— Корневик, известное дело, потому у корневика-то хотя шкура цела, только вылиняла, а у пристяжной-то от заплат-то в глазах рябит! — галдели деревенские остряки, намекая на множество разнообразных заплат, украшавших единственный полушубок Яшника, не снимавшийся с плеч его ни зимой, ни летом» (т. I, стр. 212).

Такое бессердечное издевательство над бедностью возможно только там, где во всей силе царит суровое правило: каждый за себя, а бог за всех, и где человек, не умеющий собственными силами справиться с нуждою, не вызывает в окружающих ничего, кроме презрения. Недурно выставлено Наумовым равнодушные крестьян к чужому горю и в «Деревенском аукционе». У одного из них продается с аукциона имущество. Из открытых окон его избы слышатся глухие рыдания, сам он сидит на крыльце, уныло свесив голову, а густая толпа кре-

стьян, съехавшихся на аукцион из соседних деревень, теснятся вокруг него, осматривая приготовленные к продаже предметы и не обращая на его неподдельное горе ни малейшего внимания. Какой-то парень выгодно купил его мерина, какой-то старик «нагрелся», покупая две сбруи. Этот последний хнычет перед заседателем, прося сбавить чересчур высокую цену сбруи: «Сделай милость, бедность», — говорит он. Но эта же самая «бедность» только что собиралась пожить на счет своего же брата, разоренного неблагоприятным стечением обстоятельств. Он кричит: «Да будь они прокляты, все эти кциёны...» Но кричит единственно потому, что его расчет не оправдался, а вовсе не потому, что «кциён» пустил по миру такого же, как и он, крестьянина.

Можно, конечно, сказать, что в подобных случаях отсутствие солидарности между крестьянами есть плод нового, нарождавшегося *товарного* хозяйства, а вовсе не старого, *натурального*. Но это будет неверно. Товарное хозяйство не создает разобщенности интересов между крестьянами; оно только обостряет ее, *на нее же опираясь* в своем развитии. Мы уже видели, как отвратительны те формы эксплуатации, которые возникают в процессе перехода натурального хозяйства в товарное: ростовщик совершенно поработывает производителей. Но чем же создается эта страшная, всеподавляющая сила ростовщического капитала? Именно теми отношениями, которые он при своем появлении застаёт между производителями, воспитавшимися при условиях натурального хозяйства. Разобщенные одни с другими, совершенно неспособные к дружному труду на общую пользу, едва только этот труд выходит за пределы вековой рутины, производители составляют естественную добычу ростовщика, который так же легко справляется с ними, как коршун справляется с цыплятами. И они сами видят не только свое экономическое бессилие перед ростовщиком, но также и его умственное превосходство над ними.

«— И голова же, брат, о-о! — говорит у Наумова ямщик о кулаке Кузьме Терентьиче.

— Умный?

— Ума этого у него в три беремья не облапишь. Да вот поглядите сами, каков он есть, Кузьма Терентьич...» и т. д. (т. I, стр. 56, «Паутина»).

Это преклонение обыкновенного крестьянина пред умом кулака постыдно бросалось в глаза лучшим исследователям нашего народного быта. Его одного достаточно было бы для доказательства того, что кулачество порождается не внешними, а внутренними условиями крестьянской жизни. Внешние

условия оказались бы бессильными там, где внутренние условия делали бы невозможным выделение из крестьянского *мира* людей, носящих выразительное название *мироедов*.

Бессильные перед кулаком вследствие своей разобщенности, производители рассматриваемого нами периода экономического развития являются также совершенно бессильными и по отношению к тому центру, который ведаёт общие дела данной территории. Чем больше эта территория, тем бессильнее оказываются пред ним и отдельные лица и целые общины. Гордая независимость дикаря уступает место жалкой приниженности поработанного варвара. Полное ничтожество каждого из этих варваров по отношению к центру получает до последней степени непривлекательное внешнее, так сказать церемониальное, выражение. В своих сношениях с центром производитель-варвар выступает не как человек, а лишь как некое жалкое подобие человека. Он называет себя не полным человеческим именем, а уничижительной кличкой, распространяя свое принижение на все, что имеет к нему известное касательство: у него не жена, а женка, у него не дети, а детишки, у него не скот, а животишки. Наконец он и сам перестает принадлежать себе, становясь собственностью государства. Его закрепощение, его *прикрепление к земле* является при указанных условиях необходимым для удовлетворения экономических нужд государства. Если бы его не привязали к земле, то он не перестал бы «брести розно», отнимая у государства всякую возможность прочного существования. Государство даёт ему землю, пока надделение его землею остается единственным средством поддержания его «платежной силы». Раз прикрепленный к земле, он срастается с нею, как улитка с своей раковиной, как растение с той почвой, которая его питает. Пока такой человек находится в состоянии умственного равновесия, то есть, проще говоря, в здравом уме и твердой памяти, ему и в голову не приходит задаваться вопросами, не имеющими прямого отношения к процессу производства, поглощающему все его духовные и физические силы. Он пашет, сеет, блюдет хозяйство, соблюдает, чего с него начальство требует, но отнюдь и никогда *«не вникается»*. Это не его дело. Вникаться должны люди, живущие в центре, а он обязан обеспечить им экономическую возможность вникания, то есть опять-таки пахать, сеять, соблюдать хозяйство и пр. Роскошь «думать» могут позволить себе только производители, почему-либо поврежденные в уме. На той ступени экономического развития, о которой у нас идет теперь речь, отсутствие разделения труда в процессе производства необходимо ведет за собою

общественное разделение труда, при котором «дума» становится совершенно лишним и даже вредным занятием и для производителя.

Пусть не указывают нам на людей, подобных Бычкову, как на доказательство того, что и здравомыслящие люди могли «вникаться» при указанном экономическом порядке. Бычковы, собственно говоря, не «вникаются» в окружающие их общественные отношения, а борются с некоторыми отдельными злоупотреблениями. Вопросы, возникающие в головах людей, подобных Загоре, и Бычковым показались бы в большинстве случаев безумными. Бычковы не задаются целью вести своих ближних вперед, они стараются только облегчить им их неподвижное существование. Бычковы — честные консерваторы; да и эти консерваторы кончают, как мы видели, плохо, и им приходится бежать в другие «округа». Бычковы населили все наши восточные окраины. Эти окраины нередко «бунтовались», но они не внесли ровно ничего нового в нашу народную жизнь по той простой и понятной причине, что им самим не удалось подняться на высшую ступень экономического развития.

Со всех сторон теснимый гнетом суровой и беспощадной действительности, варвар-земледелец сам становится суровым и беспощадным. Он не знает никакой жалости там, где ему приходится вести борьбу за свое жалкое существование. Известны расправы крестьян с конокрадами. У Наумова рассказывается случай расправы сибирских обозчиков с тремя попавшимися им в руки ворами, промышлявшими кражей чая: «Схватили, слышь, их, уволокли в лес за версту от дороги-то, раздели их донага, развели три костра, да и привязали их к деревьям-то за руки и за ноги, чтоб спины-то над кострами висели, огнем-то и стали им спины греть... Так, как сказывают, молились они, просили предать их смерти. Опося, уж вдолги после того, нашли их: висят на деревьях, а жареное-то мясо так отстало от костей...» («Эскизы без теней», т. II, стр. 338).

Далее у Наумова подробно доказывается, что воры причиняют крестьянам-обозчикам огромные убытки. Никто не станет спорить с этим. Но варварская жестокость остается варварской жестокостью, а варварской жестокости всегда много у народов «патриархально-земледельческих». Пример — утонченно жестокие китайцы.

Отсутствие разделения труда между производителями мало не устраняет разделения труда между мужчиной и женщиной. Мужчина производит, женщина приспособляет для потребления его продукты. Таким образом, женщина становится в материальную зависимость от мужчины, а на рассматриваемой

мой нами ступени экономического развития материальная зависимость быстро ведет к рабству. И действительно, женщина становится рабой мужчины, его вещь, его собственностью. Муж не только может «поучить» жену, но часто *вынуждается к этому* влиянием общественного мнения. Когда он «учит» ее, никто не считает себя вправе вмешиваться, остановить его тяжелую руку, и нередко соседи с философским спокойствием смотрят, как муж забивает свою жену до полусмерти. У Наумова в «Эскизах без теней» мы находим рассказ о том, как один рабочий уступил жену другому. «Солдат это на прииске-то живет... блудящий такой, только Егорьем и хвалится. А жена-то у него добрая баба, работающая... Ну, и попутал ее грех-то с дядей, прилепилась она к нему. Сначала много у дяди греха-то с солдатом было. Солдат-то снова с ножом на дядю кинулся, а дядя-то, слышь, взял его, словно щенка, за загривок, опустил под желоб с водой у машины, што золото моет, и говорит: отдавай добром жену, а то тут тебе и решенье делу, вместе с Егорьем утоплю... Ну, солдат-то это как поостыл в холодной воде, сердце-то у него и спало: «Бери,— говорит,— жену, только пусти душу на покаянье!» Так с этого слова дядя-то и завладел бабой, а штоб крепче было, так солдат-то с дядей бумагу сделали промеж себя; в приисковой конторе им и писали эту бумагу, што, стало быть, солдат отдал свою жену дяде как бы в ренту, за сто рублей одновременно, а напередки с благодарностью по силе возможенья, и штоб солдату к жене касательства не иметь, а в случае, если дядю смертный час постигнет, то бабу препоручить на изволение божье» (т. II, стр. 333—334). Отдать жену в аренду можно только там, где на нее смотрят как на собственность мужа. Но и эта форменная уступка женщины одним мужчиной другому есть уже, в сущности, предвестник разложения старого крестьянского быта, результат неустойчивости, внесенной в жизнь трудящейся массы золотыми приисками. Настоящий крестьянин не уступит жены, так же как не продаст без крайней надобности пришедшейся «ко двору» лошади: подобная уступка вносила бы слишком много неурядицы в его хозяйство.

Рассматриваемые нами порядки отличаются удивительной живучестью. Ростовщический капитал обирает и принижает производителей, но он не изменяет способов производства. Эти способы могут существовать целые тысячелетия почти без всякой перемены. Сообразно с этим и вырастающие на их основе общественные отношения отличаются поразительной косностью. Страны, где они господствуют, по справедливости счи-

таются странами застоя. Человечество переходило на высшие ступени культурного развития только там, где благоприятное стечение обстоятельств нарушало равновесие этих варварских порядков, где экономическое движение разгоняло вековой сон варваров. К великому счастью для всех без исключения русских людей, России не суждено было заснуть так крепко, как заснули другие исторические Обломовки, вроде Египта или Китая. Ее спасло влияние западных соседей, благодаря которому она уже безвозвратно выступила теперь на путь общеевропейского экономического развития. Со времени отмены крепостного права крушение нашего старого экономического быта пошло вперед очень скоро, внося широкие полосы света в темное прежде царство. Несмотря на самые усердные попытки идеализации этого быта, нашим народникам-беллетристам оставалось лишь изображать как самый процесс его разложения, так и его общественные и психологические последствия. Занятый своею гуманною проповедью, Наумов едва-едва касается этой стороны дела\*. Но она очень ярко выступает у Гл. И. Успенского, Каронина, Златовратского.

По странной иронии судьбы, лучшим беллетристам-народникам пришлось изображать торжество нового экономического порядка, который, по их мнению, не сулил России ничего, кроме всякого рода материальных и нравственных бедствий. Этот взгляд на новый порядок не мог не отразиться и на их сочинениях. За весьма немногими исключениями (например, повесть Каронина «Снизу вверх»), в них изображаются лишь отрицательные стороны переживаемого нами процесса, а положительные затрагиваются разве только незначай, невольно и мимоходом. Надо надеяться, что с исчезновением народнических предрассудков у нас явятся писатели, сознательно стремящиеся к изучению и художественному воспроизведению положительных сторон этого процесса. Это будет большим шагом вперед в развитии нашей художественной литературы. И чтобы сделать такой шаг, художникам не

\* Он касается ее там, где изображает семейные отношения крестьян и вторгающиеся в них новшества. «Молодыжничек-то на стариков ропчет, што не по правде боле живут... што сынде на работу идет, а отец в кабаке,— говорит крестьянин в «Эскизах без теней».— Сын норовит, кабы в дом копейку принести, а отец — из дому. А старики говорят, что молодые-то от рук отбились... почему-де нет... послушанья...» (т. II, стр. 346). Это уже явный признак разложения старой домостроевщины, но для Наумова как будто еще неясно его значение.

нужно заглушать в себе то сочувствие к народной массе, которое составляло самую сильную и самую симпатичную сторону народничества. Совсем нет. Характер сочувствия, конечно, будет уже не тот. Но от перемены он только усилится. Как ни идеализировали народники крестьянскую массу, но они все-таки смотрели на нее сверху вниз, как на хороший материал для их благодетельных исторических опытов. В народничестве была своя значительная доля барства. Призванная сменить народников, новая разновидность интеллигенции неспособна относиться по-барски к людям физического труда уже в силу того убеждения, что историческое дело этих людей может быть сделано только ими самими. Она видит в них не детей, которых надо воспитать, не несчастных, которых надо облагодетельствовать, а товарищей, с которыми надо идти рядом, деля и радость и горе, и поражения и победу, с которыми предстоит проходить вместе великую воспитательную школу исторического движения вперед, к одной общей цели. Ну а кто же не знает, что товарищеское сочувствие есть нечто более серьезное и более ценное, чем сочувствие, точнее — сострадание, жалость благодетеля к лицу, которое он собирается облагодетельствовать? Таким образом, исчезает пропасть, издавна существовавшая между людьми мысли и людьми физического труда, потому что эти люди сами начинают мыслить, сами становятся интеллигентными, чем прекращается неизбежная в свое время, но крайне непривлекательная монополия интеллигентности. И прекращается она именно потому, что крушение старых, дорогих народникам «устоев» разогнало тяжелый вековой сон наших Обломовок. Крестьянин доброго старого времени не должен был «вникаться» под страхом умопомешательства. Трудящийся человек наших дней обязан «вникаться» просто в силу экономического своего положения, хотя бы только для того, чтобы отстаивать свое существование в борьбе с неблагоприятными, но в то же время вечно подвижными, вечно изменчивыми экономическими условиями; ему, как Фигаро, нужно больше ума, чем требовалось его «для управления всеми Испаниями». Это колоссальная разница, существенно изменяющая весь характер трудящейся массы, а с ним и все шансы нашего дальнейшего исторического развития. Народники не видят и не признают этой разницы. Но... *ignorantia non est argumentum*\*

\* Незнание — не оправдание (лат.). — Ред.

<sup>7</sup> В статьях «Евгений Онегин» и «Лирика Пушкина», объединенных общим названием «Пушкин и Белинский» (1865), Д. И. Писарев, полемизируя с Белинским, давал резкую и ошибочную, лишенную историзма оценку творчества великого поэта. Однако своими статьями Писарев стремился прежде всего нанести удар по теории «чистого искусства», противопоставив ей собственную «теорию реализма».

## НАШИ БЕЛЛЕТРИСТЫ-НАРОДНИКИ

Объединенные этим названием статьи об Успенском и Каронине первоначально печатались в изданиях группы «Освобождение труда»: сборнике «Социал-демократ» (Женева, 1888) и литературно-политическом обозрении «Социал-демократ» (Лондон; Женева, 1890. № 1). Позднее, в легальном журнале «Новое слово» (СПб., 1897. № 8) была напечатана статья о Наумове. Однако во всех трех изданиях сборника Плеханова «За двадцать лет» (СПб., 1905, 1906, 1908), в который был включен и цикл «Наши беллетристы-народники», эта последняя статья публиковалась на первом месте в соответствии с хронологией творчества писателей.

### Н. И. НАУМОВ

<sup>1</sup> Сборник Н. И. Наумова «Сила солому ломит. Рассказы из быта сибирских крестьян» был издан петербургским народническим кружком «чайковцев» в 1874 г. и широко использовался для пропагандистской работы в крестьянской среде.

<sup>2</sup> Здесь и далее Плеханов ссылается на изд.: Наумов Н. И. Собр. соч.: В 2 т. СПб., 1897.

Ряд произведений писателя, которые ниже цитирует или упоминает Плеханов, в частности: «Горная идиллия» (1880), «Паутина» (1880), «У перевоза» (1863), «Юровая» (1872), вошли в однотомник сочинений Н. И. Наумова (М.; Л., 1933), другие в советское время не публиковались.

<sup>3</sup> Рассказ «Яшник» появился в 1879 г. в газете «Русская правда» (№ 100, 102).

<sup>4</sup> В собрании сочинений Н. И. Наумова (СПб., 1897. Т. 1), как и при первой публикации (Дело. 1881. № 4), этот рассказ называется «Загора».

### Г. И. УСПЕНСКИЙ

<sup>1</sup> Плеханов посвятил статью видному деятелю революционного народничества, писателю и публицисту Сергею Михайловичу Кравчинскому (Степняку), с которым его связывала большая личная дружба.

Написанная в 1888 г. статья об Успенском, помимо уже указанных ее публикаций, в сокращенном переводе и с подзаголовком «Народническая